

ОНС

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Журнал издается под руководством Президиума РАН
выходит с 1976 г. 6 раз в год

1
2012



«НАУКА»
МОСКВА

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Э.Я. Баталов,
доктор политических наук

Г.Г. Водозадов,
доктор философских наук

И.Е. Дискин,
доктор экономических наук

Р.Н. Евстигнеев,
доктор экономических наук

Т.И. Заславская,
академик Российской академии наук

И.В. Кондаков,
доктор философских наук

Е.М. Котлярская,
ответственный секретарь

А.П. Назаретян,
доктор философских наук

В.Ф. Петренко,
член-корреспондент
Российской академии наук

Н.М. Плискевич,
зам. главного редактора

А.Я. Флиер,
доктор философских наук

Номер готовили:

к.ю.н. **Л.В. Ильина**, к.и.н. **И.Н. Ионов**, Л.С. Круминг, к.и.н. **В.Г. Стельмах**, к.филос.н. **С.П. Чернозуб** (редакторы отделов); **Д.В. Доношкин**, **Б.Т. Кабанов**, **Е.Н. Самойлова** (лит. сотрудники); **Н.Н. Демидова** (технический редактор); **В.А. Ермолаева** (корректор); **Д.В. Бычков** (зав. редакцией)

Рукописи не рецензируются и не возвращаются, объемом более 1 авт. л. не рассматриваются.

© Российская академия наук, 2012

© Редакция журнала "Общественные науки
и современность", 2012

Адрес редакции: Мароковский пер., д. 26, Крымский вал, Москва, 119049

Тел.: (499) 230-79-78, (499) 238-27-09

Адрес в Интернете: <http://ecsocman.edu.ru/ona>

РОССИЙСКИЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

В.А. Касамара, А.А. Сорокина. "Идеальный" президент глазами российских и французских студентов

5

ОБЩЕСТВО И РЕФОРМЫ

Н.Н. Лебедева, К.А. Туманянц. Препятствия модернизации в современной России

16

Т.З. Адамьянц. Массовое социоментальное развитие: миф или реальная возможность?

27

ТРАНСФОРМАЦИЯ РОССИЙСКОГО СЕЛА

А.Ш. Жвигиашвили. Социокультурные типы в эволюции российского села

39

М.Н. Муханова. Трансформация социально-профессиональной структуры российского села (1994–2009 гг.)

47

РОССИЙСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

В.Б. Пастухов. Россия в поисках "нового времени" (Циклы российской власти)

56

А.С. Усачёв. "Третий Рим" или "Третий Киев"? (Московское царство XVI века в восприятии современников)

69

С.В. Лурье. В поисках новых форм самоидентификации русского городского населения (Методология *Grounded theory* в практическом исследовании)

88

ИСТОРИЯ СОВРЕМЕННОСТИ

В.Л. Шейнис. Большевицкая власть и первая советская Конституция

106

МЕТОДОЛОГИЯ

Л.П. Евстигнеева, Р.Н. Евстигнеев. Становление экономической синергетики

122

Г.И. Мусихин. Идеология и история

134

РОССИЯ-ИТАЛИЯ: ОПЫТ КУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Вяч.Ве. Иванов. Новелла о соколе в "Декамероне" Джованни Боккаччо и "Сокол" Всеволода Иванова

147

В.И. Новиков. Роман русского литератора с итальянским языком (академическое эссе)

159

КУЛЬТУРА

А.П. Марков. Диалог культур в условиях глобализации (XI Международные Лихачёвские чтения в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов)

163

Г.И. МУСИХИН

Идеология и история*

Автор исследует феномен развития идеологий в историческом контексте. В частности, рассматривается переход академической историографии от позитивистской методологии к методологии лингвистического анализа. Последняя представлена двумя направлениями: теорией речевых актов и историей понятий. Соответственно, идеологии предстают как когнитивные механизмы и одновременно когнитивные фильтры политического мировоззрения.

Ключевые слова: идеология, теория речевых актов, история понятий, историография, конструктивизм.

The author investigates a phenomenon of development of ideologies in a historical context. So the transition of the academic historiography from positivistic methodology to methodology of the linguistic analysis is considered. Linguistic analysis is presented by the theory of speech acts and history of concepts. Accordingly, ideologies appear as cognitive mechanisms and simultaneously cognitive political outlook filters.

Keywords: ideology, the theory of speech acts, history of concepts, historiography, constructivism.

Идеологии можно рассматривать как когнитивные механизмы и одновременно – когнитивные фильтры политического мировоззрения. Именно поэтому можно утверждать, что пока в политике существует процесс легитимации, идеологии будут иметь в ней значение. Поэтому *идеологию как таковую можно признать одной из значимых структур познания*. В этой связи знаменитый лозунг о “конце идеологий” можно трактовать как *свидетельство определенного кризиса процесса познания* как такового, который человечество переживает на рубеже тысячелетий. Идеологии не исчезают и не исчезнут. Мировоззренческие столкновения по поводу глобализации и цивилизационных различий – неоспоримое доказательство “живучести” идеологий, которые по-прежнему притязают на всеобщее ценностное объяснение мира политики (и не только ее). Однако исследование идеологий становится все более сложным и изощренным процессом. “Чистого” концептуального анализа идеологий уже недостаточно. Критическая рефлексия последних требует их *контекстуального* анализа. Один из наиболее очевидных контекстов развития идеологий – исторический. Именно он позволяет лучше понять внутренние (и внешние) противоречия, неподсказанные доведательности и слабости идеологий, что, на мой взгляд, гораздо важнее для научного познания, нежели обнаружение единства и преемственности.

* Статья выполнена при поддержке Программы “Научного фонда НИУ-ВШЭ”. Индивидуальный исследовательский проект № 10-01-0083 “Современные тенденции в теории идеологий”.

Идеология в контексте истории или в контексте историографии?

Ретроспективный исторический анализ развития идей – очень распространенное и давнее явление, имеющее солидный академический послужной список. Достаточно вспомнить широко распространенное еще в XIX в. направление *Geistesgeschichte* (духовная история), в русле которого работали многие известные представители немецкой академической науки (см. об этом [Meineske, 2004; Lenk, 1956, S. 143–150]). Однако развитие этого направления интеллектуальной истории продемонстрировало, что существование некоей независимой внешней точки наблюдения за идейным процессом – не более чем иллюзия, ибо *историки оказываются втянутыми в те или иные языковые игры, имеющие в современной политической науке имя идеологии*.

Вышеобозначенная тенденциозность исторической науки долгое время не признавалась (не фиксировалась) самими историками в силу их особого отношения к историческому источнику как таковому, сложившемуся в историографии. Дело в том, что традиционно история как наука анализирует источник, исходя из него самого, а не из того, в каком языковом контексте данный источник возник. Иными словами, историки долгое время описывали историю на основе источников, не уделяя должного внимания тому, что сами эти источники есть результат определенного повествования, в той или иной тенденциозной форме описывающего происходившее. В последние десятилетия наметились очевидные изменения в анализе исторических источников. В этом смысле знаковой стала книга Х. Вайта “Метаистория” (замечу, встреченная в штыки академической историографией). Опираясь на идеи Д. Вико, Вайт доказывал, что история в основном есть не что иное, как идеология. *История является не прошлым как таковым, но тенденциозным преломлением прошлого через настоящее* [White, 1973].

Наиболее внимательно к идее осовременивания прошлого отнеслись исследователи истории политической мысли. В этом отношении знаковой стала книга К. Скинера “Основы современной политической мысли”, в которой он предпринял попытку контекстуального анализа ключевых политических понятий, дезавуируя устоявшиеся представления о “последовательном” развитии политических нарративов и идеологий [Skinner, 1978]. Под этим углом зрения началось фактическое переписывание истории западной политической мысли. Смыслы тех или иных устойчивых терминов реконструировались в зависимости от воссоздаваемого исторического контекста, в котором использовались эти термины. При этом демонстрировалось, как слова меняли свои смыслы с течением времени, адаптируясь к новым условиям.

В том же русле, только анализируя уже собственно развитие исторической науки, работал Л. Стоун, который одним из первых стал рассматривать исторический нарратив в логике конструктивизма. Осуществляя деконструкцию массива историографических данных, он отгнетил растущую роль нарратива в исторических трудах [Stone, 1981, p. 86–87]. Сформулированная известным немецким историком Л. фон Ранке идея “научной истории” опиралась на исследование новой источниковой базы. При этом научность состояла в скрупулезной текстуальной критике архивных материалов, и этого считалось достаточно для окончательного установления исторической истины как неоспоримого факта политической истории. Стоун отследил, как идея Ранке была догматизирована академическими институтами и как приобрела статус очевидной истины с последней трети XIX по середину XX в. Это неизбежно вело к фактическому мельчанию и формализации задач научного исследования. Целые пласты исторического контекста попросту игнорировались в угоду академизму, сводящемуся, по сути, к критике источника как такового.

Среди отечественных ученых эту мысль очень четко сформулировал не кто иной, как академик Б. Рыбаков, крупнейший специалист по истории Киевской Руси: «Проведя тенденциозно отобранные норманистами аргументы, следует обратить внимание на то, что *тенденциозность появилась в самих наших источниках* (курсив мой. – Г.М.), восходящих к “Повести временных лет” Нестора» [Рыбаков, 1984, с. 15].

Одновременно в русле академического историзма получил распространение еще один примечательный процесс: конструирование “истинной” национально-государственной истории [Мусихин, 2008³]. При этом, если критика источников во многом осуществлялась на уровне обособленного микроанализа, то выводы о национально-государственных проектах находились на макроуровне национальной мифологии. По большому счету, именно со второй половины XIX в. *национальное государство становится не только основной единицей исторического процесса, но его сущностью (и целью)*. Можно сказать, что процесс исторической эволюции был мобилизован на службу нации. Как признавался Ф. Мейнеке (один из должителей академической исторической науки Германии): “Мы были тогда в новом рейхе кайзера Вильгельма и Бисмарка так наивны, убеждены и горды, что вся мировая история представлялась нам только ступенями к этой империи” [Meinecke, 1964, S. 79].

Обозначенное выше обстоятельство позволяет утверждать, что *универсальные моральные основания философии Просвещения, из которых произрастали все социальные науки, уже во второй половине XIX в. были отвергнуты наукой исторической*. Последняя сделала ставку на анализ сугубо европейского опыта формирования национальных государств. Универсалистский пафос Просвещения был отвергнут в пользу обоснования исторических траекторий отдельных стран. Считалось как само собой разумеющееся, что смысл и назначение истории состоит в формировании европейских национальных государств [Wittrock, 2004; The Rise... 1998; The Enlightenment... 2000]. Естественно, подобный подход стал провоцировать критическую рефлексию. *Одной из самых последовательных попыток дать альтернативное понимание истории стал марксизм*. Однако из-за его радикального политического стиля он долго был вне рамок академической науки. Одним из первых, кто предпринял попытку критического переосмысления исторического процесса, был К. Лампрехт, предложивший универсальную культурную схему исторического процесса как смену ментальных установок в развитии общества [Лампрехт, 1894]. Немецкая академическая историография в начале XX в. отвергла этот подход. Однако он послужил источником вдохновения для знаменитой французской школы “Анналов”, которая в 1930-е гг. поставила задачу по-новому обозначить общие исторические тренды, опираясь на достижения социологии, экономики, психологии и антропологии (см., например, [Февр, 1991]).

Прорыв в критическом восприятии академической историографии произошел в 1960–1970-х гг. Следует отметить, что это стало результатом не только (и не столько) развития самой исторической науки, сколько следствием известной постпозитивистской революции, подвергнувшей сомнению казавшиеся незыблемыми принципы научной истины, исповедуемой логическим позитивизмом (см. [Кун, 2009]). Результатом такой трансформации стало массовое для второй половины XX в. увлечение ролью языка и герменевтикой в противоположность господствовавшему до этого социально-экономическому детерминизму. Это интеллектуальное движение получило хорошо известное название “постмодернизма”. Только в 1980-е гг. к критике теорий поступательного модернистского прогресса подключилась академическая историография. Крах теории конвергенции, проявившийся в странах “третьего мира” (особенно в феномене исламского фундаментализма), усилил разочарование в количественных феноменических и демографических основаниях исторического прогресса.

Показательно, что знаковой работой в этом отношении стало исследование самого яркого символа Модерна и модернистского позитивистского восприятия действительности – Великой французской революции. Л. Хант попыталась проанализировать пути распространения революционной риторики, доказывая, что именно слова творят историю. В ее исследовании доказывалось, что языковые конструкции в условиях революции способны сыграть поистине харизматическую роль. *Язык не просто фиксировал революционные изменения, но и провоцировал их*. Особенно наглядно это было показано на примере знаменитой речевой конструкции “*ancien régime*”. Для дискредитации любого утверждения и даже факта достаточно было оголтелить дискредитируемое со старым режимом – дальнейшие доказательства и аргументы не

требовались. Тем самым *революционная риторика (именно риторика и ничто больше) разделила действительность на старый режим и новую нацию*, приведя в движение ключевые революционные дискурсы, которые, в свою очередь, обладали колоссальной мобилизующей силой (в марксистской терминологии это можно назвать языком классовой борьбы). Для оттенения революционной риторики Великой французской революции Хант сравнивала ее с речевыми конструкциями времен американской войны за независимость. Из-за того, что объект отрицания (Британская монархия) находился за океаном, революционная риторика в Америке не приобрела радикальных черт, что не повлекло за собой формирования революционных традиций, место которых заняла либерально-конституционная риторика, укоренив образцы либерально-конституционной политики. Автор пришла к выводу, что революционная риторика во Франции “революционизировала революцию”, разделив действительность на старую и новую, лишив тем самым действительность настоящего времени (было только темное прошлое и светлое будущее). В этой ситуации улучшение действительности представлялось бессмысленным (нельзя улучшить того, что осталось в прошлом и не существует в настоящем). Возможным стало только строительство нового будущего [Hunt, 1983].

С такой исследовательской точки зрения язык превращался в пластичную конструкцию, находящуюся в распоряжении социальных акторов и одновременно структурирующую мировосприятие и преобразовательскую деятельность последних. Можно сказать, что именно *благодаря языку социальные акторы способны совместить настоящее и будущее*. В результате связь между настоящим и будущим теряла очевидную причинную зависимость, становясь открытым сценарием развития. *История превращалась в процесс производства не только социальных и прочих интересов, но и коллективных смыслов*. Смыслы стали рассматриваться как многомерные и относительные образования, существующие в сферах дискурсивного взаимодействия, при этом данные сферы обладали очевидной способностью к самозарождению и развитию. Смысл становился относительным. Добро получало смысл только в зависимости от зла и наоборот.

В этой связи любопытным стало прочтение казалось бы устоявшегося исторического и социально-экономического термина “класс”. Данное понятие было реконструировано как политический историзированный термин, а не принято к рассмотрению в качестве объективной онтологической реальности социального мира (см. об этом [Jones, 1983; Schuttler, 1989]). В этой связи класс трактовался не как объективная, а как потенциальная структура, которая может быть мобилизована посредством языка. То есть *класс из анализируемого явления превращался в аналитический инструмент для исследования языка политической борьбы*. Последний определял условия политических коалиций различных социальных групп. Такое понимание политического языка делало его не столько набором речевых конструкций, сколько “средством производства” смыслов. Поэтому утверждалось, что *в развитии политических движений нужно искать не логику, а тактику, состоящую в ситуативном поиске поддержки для достижения определенных целей с помощью мобилизующей силы идей*.

Попытка реконструкции концепта “класса” в терминах дискурсивной, а не онтологической реальности, подразумевает, что язык класса основан на особенностях политического контекста. В этой связи ход исторического профессионального сообщества традиционно использовало такие концепты, как “опыт” и “сознание” вне всякой проблематизации природы языка как такового [Jones, 1983, p. 1–24]. Историки обычно трактовали язык как некоторое инертное пространство посредничества, через которое происходил обмен “опытом” и в котором формировалось “классовое сознание”, выражающее бытие класса. Последнее было некоей производной социально-экономических факторов, задававших классовую позицию. Тем самым зачастую в неявной форме (за исключением марксизма) постулировалось априорное предположение, что уже существующие интересы находили на политической арене свое рациональное выражение. Если же брать очевидное допущение о языковой среде как инертном медиаторе исторического

процесса, то это в корне изменит понимание политического процесса вообще и трактовку взаимоотношений “большой тройки” идеологий (либерализма, консерватизма, социализма) в частности.

К концу XX в. в западной историографии утвердилась исследовательская точка зрения, согласно которой коллективные интересы и их идеологическое выражение конструируются и проявляются в пространстве дискурсивного поля, где происходят конфликтные политические коммуникации по поводу существующих понятий, а также по поводу создания новых понятий или “*политических метафор*” (третье сословие, нация, граждане, класс, национальный интерес и т.д.). То есть интересы и идеологии мыслятся в логике лингвистического построения. В этом контексте каждый значимый идеологический концепт обладал значительным потенциалом убедительности при выражении тех или иных коллективных интересов, и логика построения аргументации была опосредована не только существующей социально-экономической реальностью, но и конкретной политической ситуацией. Поэтому историки признали необходимость гораздо большего внимания к характеру дискурсивных столкновений как таковых, к взаимодействию культурных практик, к становлению значимых идеологических концептов и семантических полей в целом.

Подобный исследовательский подход характеризует трактовка социальных изменений как продукта деятельности групп (классов), обладающих различными (иногда несовместимыми) политическими языками, имеющими различное происхождение. Это позволяет обнаружить, что в процессе взаимодействия различных политических (идеологических) дискурсов могут возникать ситуации стабильного сосуществования (и даже взаимного усиления: конструирует государство всеобщего благоденствия как результат взаимодействия либерального и социалистического дискурсов). Но может происходить и конфликтная поляризация дискурсов, хотя качественного различия социально-экономической ситуации фиксироваться не будет (вспомним, например, отсутствие “консервативной волны” в Швеции и радикальную поляризацию в Великобритании при сходных экономических проблемах рубежа 1970–1980-х гг.).

Силу реконструированному дискурсивному видению истории придает то, что последние существуют, как правило, в устном и письменном “перевод” фактов теми или иными интерпретаторами. Это не означает, что плюрализм мнений в прошлом — препятствие для научного исторического исследования. Однако мы должны признать, что абсолютной истины из истории вычлнить не удастся. За рамками подобного абсолюта многообразия исторических нарративов позволяет глубже понять историческую действительность. Можно сказать, что деконструированные подобным образом мифы прошлого позволяют по-новому взглянуть на способы формирования настоящего. Вновь возникшее перспективное видение настоящего из прошлого рано или поздно само становится предметом деконструкции, что и сопровождается “переписыванием истории”. Видение исторической перспективы *реконструирует не “историю прошлого”, но, скорее, “историю о прошлом*”. Таким образом, история как наука есть интерпретация прошлого в настоящем, а значит, неизбежно есть акт речевой интерпретации. История как конструктор и “перевод” придала новый импульс исследованию культурного самосознания того или иного сообщества. В академической историографии все чаще стало встречаться понятие “коллективная память”, напрямую связываемое с понятием “идентичность”. Такой подход, по сути, означает, что феномен *социальной сплоченности скорее “изобретается”, а не “обнаруживается”*, то есть является сконструированным, а не объективно существующим и выводимым из реальной социально-экономической структуры общества.

Лингвистический акцент в исследовании прошлого обнаруживал ограничения, которые накладывает язык на социальную реальность как таковую. Обнаружение этих ограничений привело к заключению, что существует связь между мифом и историографией. Последняя в гораздо большей мере зависима от своей “литературной” организации, чем это признавалось традиционной академической исторической наукой. В радикальной версии конструтивизма *историография и мифография идентичны*.

Однако вряд ли такую интерпретацию историографии можно считать открытием конструктивизма. Идею о том, что истина контекстуальна, а не абсолютна, высказывал еще Б. Спиноза, который считал, что исторические мифы – не ложный вид исторического знания, а отношение общества к самому себе (см. об этом [Nippel, 2000]). Мысль о том, что основа мифов – деятельность власти, высказал еще в XVIII в. один из первых “методологов” исторической науки Д. Вико, а впоследствии (задолго до М. Фуко) подобные соображения мы встречаем у Ф. Ницше и М. Вебера (см. [Вико, 2007; Ницше, 2010; Szakolszai, 1998]).

Если считать идеологии универсализованными и рационализированными мифами, то они (идеологии) способны быть выражением реальности в той мере, в какой люди им привержены. В этом случае *идеологии – это не искаженный образ реальности, а реальность, выраженная посредством языка* (от слова “халва” во рту, конечно же, слаще не станет, но вкус халвы мы вспомним). Поэтому идеологии (как и мифы) не только предмет для изучения исторической науки, но они постоянно оказываются продуктом исторических исследований, который в общественном мнении имеет название “*историческая память*”.

Процессы производства смысла исторических процессов запускают определенный механизм отбора “бесспорных” фактов прошлого. В результате, скажем, генцид армян становится историческим фактом только спустя несколько десятилетий после самого события. При этом спор об “имени” (геноцид) оказывается отдельной темой политических дискуссий. При внимательном рассмотрении можно обнаружить, что академические исторические исследования почти всегда наполнены именно такими “именами”: государство, нация, демократия и т.д. Несложно заметить, что данные имена, будучи наделенными значением исторических фактов, в разном политическом контексте приобретали различную трактовку. Можно сказать, что *история постоянно переписывается, так как постоянно меняется настоящее*. Поэтому прошлого как бесспорного эмпирического факта не существует, история есть процесс постоянной упорядоченной рефлексии, существующий для того, чтобы придать смысл настоящему, а в идеале (идеологии) и будущему.

Очевидно, что такой подход к истории в корне расходится с позитивистским взглядом на научное изучение прошлого. Сторонники такого взгляда трактуют научный анализ истории как критику источников через очищение фактов от мифов и фантазий. Конструктивистский же взгляд на историю полагает миф активным началом, способствующим производству смыслов (в том числе и самой исторической наукой). Иначе говоря, историк – не беспристрастный судья, устанавливающий истину, а конструктор, участвующий в “создании прошлого” (см. об этом [Koselleck, 1979]). Подобная трактовка исторической науки служит и вызовом, и открывает новые перспективы. Двойственность подобного положения состоит в констатации того, что не существует реальности, которая может быть концептуализирована и проанализирована вне рамок языка и порожденных им значений. Ограничения и креативность языка при его столкновении с реальностью состоят и в том, что дискурсе самим фактом своего существования продуцирует собственные интересы. Это делает тенденциозность (идеологическую в том числе) неустранимой, но одновременно открывает новые горизонты для исследования.

Идеология как методология истории

Связь идеологии и истории – не новость для научного мира. Очевидно, что культура – общее “поле деятельности” как исторической науки, так и идеологических конструкций. Не секрет, что историю западной цивилизации чаще всего понимают телеологически (читай – идеологически). Можно сказать, что интегральный телос самосознания западной цивилизации – прогресс: прогресс абсолютной идеи у Г. Гегеля, прогресс способов производства у К. Маркса и, наконец (оставляя за скобками многие другие концепции), неолиберальный прогноз окончания холодной войны как победа прогресса в виде “конца истории”. Логичным завершением этой тенденции стала концепция столкновения цивилизаций. Однако подходы к подобному столкнове-

нию сложно назвать беспристрастно научными. В публицистическом тиражировании подобных идей они скорее походят на священную войну добра со злом, и здесь в пору говорить уже не о телеологичности общей истории, а о тотальности общей судьбы.

Параллельно с идеей неуклонного (в конечном счете) прогресса развивалась идея человеческого самосовершенствования. На первый взгляд, нет ничего более логичного и эмпирически обоснованного: история имеет смысл только как история людей. Проблема в том, как понимать саморазвитие человека. С очевидной идеологической тенденциозностью это проявилось в концепции “нового человека”, широко распространенной в СССР. Считалось, что освобождение от капиталистической эксплуатации изменит саму человеческую природу, приведет к возникновению нового человеческого типа: солидарность вместо эгоизма, коллективное, а не индивидуалистическое поведение [Смирнов, 1971; Sträth, 2000].

Примечательно, что либерализм выдвинул альтернативную концепцию “нового человека”, но именно нового, так как с членением истории на то, что было до Нового времени и то, что охвачено Новым временем, академическая западная (и советская) историография соглашалась как с очевидным фактом. “Новый человек” либерализма стал “гибридом”, он хорошо адаптируется к новым вызовам, он творческий и инновационный, он независим и свободен от сдерживающего влияния социальных границ [Wagner, 2000]. Все это идеально вписалось в неолиберальный “рыночный фундаментализм”, апеллирующий к глобализации как новой мировой реальности. Новая историография задалась целью деконструировать связь идеологии и культуры, чтобы вырваться за рамки тотализирующего понимания истории. Однако эта задача в ее систематическом виде может оказаться неподъемной, ибо ни одна идеология и культура не существуют в чистом виде. Чаще всего наблюдается наложение друг на друга различных идеологических конструкций и различных культурных типов и едва ли не решающее значение приобретает контекст взаимодействия тех или иных идеологических и культурных компонентов, формирующих различные дискурсы.

Тем не менее мы должны изначально понимать различие культуры и идеологии, чтобы окончательно не быть дезориентированными их схожими дискурсивными “следами”. Культура – арена для конструирования сообществ и сплоченности. При этом она имеет как экономическое, так и политическое измерение. В свое время просвещенческий рационализм совершил *аналитическое* разделение экономики, политики и культуры, провозгласив результат этого анализа реальностью самой реальностью, что оказалось (и до сих пор оказывает) определяющее влияние на концептуализацию общественной жизни. Только к рубежу тысячелетий в академической социальной науке утвердилось мнение о проблематичности такого разделения.

Если исходить из интегративного понимания концепта культуры как социального пространства¹ коммуникации, то конкурирующие идеологии (иными они по определению быть не могут) проявляются в качестве ключевых инструментов, определяющих содержание и границы этого пространства. Если воспользоваться метафорой театра, то культура представляет собой репертуар, в котором участвуют идеологии и в которых они вкладывают свое “мастерство”. Репертуар является определяющим как структурная матрица, но от мастерства исполнителей зависит его актуальное звучание. Поэтому культура и идеология, взаимодействуя друг с другом, могут ситуативно даже “меняться местами”: идеология способна стать программной установкой, а культура – системой оперативного реагирования. И здесь мы должны умерить амбиции открывателей научной истины, констатируя допустимость различных углов зрения.

Идеологии как метанарративы

Обращаясь к ретроспективному анализу идеологий, нужно помнить, что несмотря на их множество, каждая обладает тотализирующими амбициями. Поэтому постмодернистский акцент на контексте и невозможности всеобъемлющего толкования

¹ Формат статьи не позволяет углубляться в проблематику социологии пространства (см. об этом [Филиппов, 2008]).

современного мира “не отменяет” постоянно происходящие в реальности процессы реконструкции общих смыслов. Можно сказать, что деконструкция идет рука об руку с реконструкцией, и победоносная риторика *постмодерна не помещала тотальному распространению риторики глобализации как исторически последнего метанарратива Современности*, как в свое время особый интерес Спинозы к *tythos* не помешал причислению его (Спинозы) к рациональной гуманистической традиции, ставящей во главу угла *logos* (см. об этом [Toulmin, 1990]).

До 1789 г. революция идеологически трактовалась как ренессанс, то есть была радикальной тотальной отсылкой к прошлому. Великая французская революция в корне не изменила взгляд на историю, которая отныне получила новые цели и ориентиры². Последующее столетие стало в Европе эпохой трех идеологий: *либерализма, консерватизма и социализма, которые в зависимости от контекста выдвигали аргументы “за” и “против” конструкции нации*.

Консерватизм с его обращением к романтизму стал альтернативным нарративом по отношению к революционным требованиям свободы и равенства, которые, в свою очередь, после французских революций 1930 и 1948 гг. распались на конкурирующие тотальные идеологии либерализма и социализма. Возникший из научного и идеологического “месива” социальный дарвинизм, по сути, поставил все три тотальные идеологии на службу национализму. Взрыв такой гремучей идеологической смеси стал вопросом времени, которое пришло в 1914 г.

Итогом Первой мировой войны был перенос центра цивилизационного развития Запада из Европы в Америку, хотя осознание этого феномена произошло не сразу. Появление и распространение фашизма в Европе можно рассматривать как попытку реконструкции националистического идеологического дискурса довоенного времени, но с интенсивным использованием ориентации на надежды, а не на настоящие статусы.

Альтернативный метанарратив, формировавшийся в США, был основан на рационализации. После Первой мировой войны именно здесь произошло окончательное утверждение заданного Просвещением дискурса *ratio*, в рамках которого человеческие отношения времен индустриального общества рассматриваются как мирные и рациональные. Это предполагает создание необходимых предпосылок для справедливого распределения, без революционного конфликта, снимающего антагонизм между трудом и капиталом.

Великая депрессия и всплеск тоталитарных идеологических дискурсов только усилил востребованность рационального идеологического дискурса после Второй мировой войны. *Модернизация* 1950–1960-х гг. говорила рациональным языком В. Вильсона 1920-х гг. Западный стандарт развития был провозглашен универсальным способом достижения благосостояния для развивающихся народов. Кризис универсальной модели модернизации стал очевиден в 1970-е гг. в условиях кризиса государства всеобщего благоденствия. Неолиберальная рыночная риторика преодолела кризис убедительности универсальной модели модернизации через дискурс *глобализации* в 1990-е гг.

Таким образом, в XX веке, который можно считать веком Америки, высветиваются три очевидных метанарратива: *рационализм, модернизация и глобализация*. Порожденные данными нарративами дискурсы были призваны блокировать дискурс национализма и составили риторический фундамент “окончательной” победы либерализма. Однако ирония истории состояла в том, что язык глобализации спровоцировал повышенное внимание к теме национальной общности и идентичности. Это породило альтернативный либеральному консервативный дискурс о столкновении цивилизаций и войне добра со злом, которая была охарактеризована на самом высоком политическом уровне как противостояние “оси зла”.

Этот в высшей степени схематический обзор основных идеологических нарративов XIX–XX вв. лишней раз демонстрирует уязвимость традиционной методологии исторической науки, ибо каждый из вышеуказанных метанарративов породил свою

² О трансформации смысла понятия “революция” см. [Cunmbrecht, 1978; Мусихин, 2008⁶].

интерпретацию истории в рамках академической науки. Обнаружение такой тотализирующей дискурсивной власти вряд ли приведет к исчезновению самих метанарративов, но позволит интерпретировать их не как выражение истины, но как проявление власти, понимаемой в деконструктивистской логике постмодернизма.

Можно сказать, что дискурсивная сила ключевых идеологических метанарративов привела к смешению представлений академической, экономической и политической элит. Достаточно вспомнить “войну историков” Германии и Франции по поводу исторических оснований принадлежности Эльзаса и Лотарингии той или другой стране. Более поздний пример можно найти в массовой увлеченности историков теорией модернизации периода 1960–1970-х гг. Данное увлечение породило огромный массив исследований, доказывавших обоснованность концепта модернизации в истории, но все это натолкнулось на очевидный крах теории модернизации в настоящем.

Во многом именно неудачи традиционной историографии, продиктованные очевидной идеологической ангажированностью, способствовали становлению нового исследовательского направления, использующего лингвистический анализ в качестве методологии исторического исследования. При этом можно выделить два наиболее авторитетных исследовательских направления: теорию речевых актов и историю понятий (последняя больше известна под своим немецким наименованием *Begriffsgeschichte*³). Следует отметить, что хотя ключевые работы основателей названных направлений вышли еще в 1950-е г. [Koselleck, 1954; Austin, 1975], она оставалась долгое время незамеченной глобальным (то есть англоязычным) научным сообществом, ибо выпадала из контекста теории модернизации. Это исследовательское направление сформировалось в качестве альтернативы традиционной *Geistesgeschichte* (история духа), которая трактовала идеологию как длительные цепи преемственности идей и принципов, существующих параллельно друг с другом и оспаривающих право формулирования путей общественного развития. В интерпретации теории речевых актов и *Begriffsgeschichte* идеологии не являются образом будущего, даже если они на это претендуют. Они – не более чем “семантический инструментарий”, имеющийся в распоряжении субъектов. Само представление об альтернативах общественно-политического развития. При этом выбор аргументов из словаря той или иной идеологии зависит от контекста, в котором разворачивается дискуссия. Такой подход может обнаружить только “колею зависимости”, идущую из прошлого, но не имеет прогностического значения, так как постоянно корректируется меняющимся настоящим, вернее – меняющимися точками зрения на настоящее.

Акцентированное внимание к контексту, во многом продиктованное развитием теории речевых актов и *Begriffsgeschichte*, привело к формированию исследовательской перспективы, в которой идеология одновременно могла быть представлена явлением, сложно сочлененным с происходящими историческими событиями. Вместо построения истории идей, которая служит фоном для других типов историй, теория речевых актов и *Begriffsgeschichte* пытаются восстановить мышление прошлого во всей его контекстуальной сложности и, отталкиваясь от этого, подвергнуть критической рефлексии идеологические нарративы.

Новое знание, порождаемое соотношением изучения социальной реальности и изучением языка, а точнее – изучением социальной реальности через язык, составили ядро *Begriffsgeschichte*. Данное направление разрабатывалось в рамках немецкой традиции социальной истории и философской герменевтики. Теория речевых актов, которую по месту деятельности многих ее представителей часто называют Кембриджской школой, опирается на научное наследие Р. Коллингвуда и англо-американскую философию языка, в первую очередь, учение о речевых актах Д. Остина. Обе исследовательские школы прослеживали действия политических агентов в рамках политического языка, отслеживая систему аргументации в контексте “преобладающих допущений и условий политической дискуссии” [Austin, 1975]. Подобный подход, очевидно, перекликается с

³ Наиболее полно представлено в [Geschichtliche... 1972–1993].

философией языка Л. Витгенштейна (в особенности с его теорией языковых игр), где язык и действия рассматриваются как многозначно переплетенные [Витгенштейн, 2009]. При этом школу *Begriffsgeschichte* и теорию речевых актов нельзя рассматривать как идентичные в своих исследовательских подходах. *Begriffsgeschichte* основное внимание уделяет структурам и процессам, теория речевых актов делает акцент на “человеческом факторе” как двигателе интеллектуальной истории. Наиболее показательны в этом отношении труды К. Скиннера и Д. Покока [Skipper, 1978; 1998; Rosock, 1987; 2003].

Теория речевых актов изменила основной исследовательский фокус, который до этого господствовал в традиционной англоязычной истории политической мысли, где идеологии рассматривались как более или менее систематизированные идейные конструкции с высокой степенью преемственности. Новый подход состоял в концентрации внимания на взаимодействии политической риторики и политического действия. Можно даже (риторически) утверждать, что в теории речевых актов политическая мысль стала политическим действием, в отличие от традиционных подходов, когда осуществлялся поиск способов, которыми некие общеполитические идеи приспосабливались к политике, получая характер идеологии [Skipper, 1998].

В русле этого нового подхода работает М. Фриден, разрабатывая теорию идеологической морфологии. Особенно ярко это прослеживается в его анализе трансформаций либерализма в условиях обострения социального вопроса и возникновения новых теорий благосостояния в XX в. В своем исследовании британского нового либерализма он рассматривал то, каким образом создавались новые концептуальные механизмы из того “сырья” смыслов и политических практик, которые были под рукой у либеральных доктринеров. Он систематизировал то, какие смыслы и значения были произведены, а какие исключены из теории и практики либерализма. Тем самым он создал своеобразную культурно-политическую карту, накладываемую на виртуальную бесконечность возможностей логического концептуализирования. Создавая концептуальную морфологию либерализма, Фриден прибегает к комбинаторике возможностей вмешательства государства и невмешательства либеральной традиции. Вместо понимания либерализма как монолита постулатов и ценностей, он трактует его как комбинацию концептуальных кластеров и актуальных общественных благ [Frieden, 1978; 1986; 1996; 2005]. Такой же подход может быть использован при анализе социализма как движения, фиксируемого в семантическом поле между революцией и реформой, где идеи реализуются в политической практике.

Таким образом, идеология как понятие из концепции превращается в вопрос о том, как политические деятели укрепляют свои позиции в семантическом поле политики. Подобный аналитический сдвиг поставил в центр внимания вопрос о связи политической риторики с политическим действием в конкретном историческом, политическом, экономическом и иных контекстах. Исследовательский вопрос отныне концентрировался на том, как был использован язык в процессе выработки и осуществления политики?

Если говорить о достижениях школы *Begriffsgeschichte*, то здесь прежде всего следует отметить деятельность Р. Козеллека. За отправную точку своего анализа он взял допущение о непрерывном состоянии политического кризиса, которым характеризуется то, что принято называть “Современностью”. В этой связи он исследовал становление социализма и либерализма не в терминах “триумфального шествия” или “исторического прогресса”, а в категориях перманентного кризиса либеральной идеи, начиная с эпохи Просвещения. Именно Просвещение сделало возможной социальную критику, зафиксировав само понятие социального кризиса и одновременно спровоцировав перманентность последнего. В результате то, что Великая французская революция провозглашала как единое понятийное целое (свобода и равенство), во второй половине XX в. поставило мир на грань физического уничтожения под знаменами двух соперничающих идеологий (см. об этом [Koselleck, 1954; 1979; 2002]).

В этой связи Козеллек проблематизирует понятие “модернизация” как эволюционный процесс, связанный с рациональным пониманием процесса развития. Он

утверждает, что со времен Великой французской революции само фундаментальное понимание связи между прошлым, настоящим и будущим претерпело существенные изменения. *Классическое рациональное понимание настоящего на основе опыта в результате перманентной социальной критики было дополнено горизонтами ожиданий.* Тем самым истории было дано направление, которого у нее не было до эпохи Просвещения. Из-за иллюзорности линии горизонта историческое время стало иллюзорно ускоряться по отношению к времени физическому. Вследствие этого основным признаком Современности стало непрерывное умножение новых неизвестных проблем, и это повлекло за собой убеждение, что опыт обладает ограниченными возможностями. Ускорение исторического времени вело к тому, что социальные и политические действия на основе опыта попали в жесткий цейтнот, вследствие чего Современность переставала быть понятной. Поэтому именно *горизонты ожиданий (а не опыт) стали тем способом, с помощью которого пытались "справиться" с Современностью.* Неудивительно, что данные горизонты формировались на основе политически пристрастных идей и понятий, изучение которых приобретало центральное значение.

Таким образом, происходило формирование новых (или трансформация старых) понятий, сопряженных с меняющимися значениями, которые пытались предвосхитить будущее, но были неспособны понять настоящее на основе анализа прошлого опыта. Однако политики уверенно пользовались этими понятиями в актуальной политической борьбе, наделяя их разными (зачастую несовместимыми) значениями. По сути дела, публичная политическая дискуссия стала спором об интерпретации значений, поэтому аргументы идеологических оппонентов были не менее убедительны: они были бессмысленны по сути и изначально лживы по содержанию.

Begriffsgeschichte Козеллека и его последователей (так же, как и теория речевых актов и теория морфологии идеологий) находится вне анализа идеологий как истории идей (см. [Palonen, 2004]). Они исследуют изменение идеологического языка в контексте социально-политической борьбы. Поэтому Козеллек рассматривает *Begriffsgeschichte* как методологически самостоятельную помощь в понимании социальной истории, а не как вид истории идей.

Изменение исследовательской перспективы, вызванное успехами школ речевых актов и *Begriffsgeschichte* способствовало тому, что исследовательский фокус при анализе идеологий стал концентрироваться на дискурсивном анализе того, каким образом категории класса, свободы, солидарности, равенства и др. были представлены в ключевых политических дискурсах, в рамках которых оспаривалось право формулировать основные общественные проблемы и способы их решения. Такое видение исследовательской перспективы не оставляет места для унифицированной концепции идеологии и истории как телеологии, здесь предполагается взгляд на идеологию как исследовательское поле, на котором находится несколько оспариваемых смыслов.

При этом результат дискуссии в пространстве политических понятий не определен. Столкновение между различными политическими силами в борьбе за интерпретацию политических смыслов всегда имеет открытый сценарий и не может быть описано только в категориях причинно-следственных отношений. Хотя можно признать, что язык сам по себе не является причиной исторических перемен, но он несомненно делает изменения возможными благодаря формированию специфических перспектив потенциальных политических действий.

Школы теории речевых актов и *Begriffsgeschichte* оказали большое влияние на исследовательское сообщество, что нашло свое отражение в том, что они продолжают расширять свои исследовательские горизонты. Примером этого может служить попытка разработать *Metaphergeschichte* (историю метафор), что позволяет рассматривать историю интеллекта и историю литературы в тесной взаимосвязи [Begriffsgeschichte... 2002]. Однако подобный культурологический акцент в исследовании взаимодействия идеологии и истории уязвим со стороны критики тех, кто укажут на ограниченность перспектив только культурного и социального контекстов политических дискуссий. Можно сказать, что марксистское "проклятие политэкономии" вновь достигает идеологию.

Еще один очевидный недостаток двух вышеобозначенных школ – их сосредоточенность в основном на национальном опыте (немецком и английском, соответственно) и отсутствие сравнительной страноведческой перспективы в исследованиях. Взаимосвязь различных национальных политических дискурсов в исторической перспективе – вызов для современной исторической и политической науки.

Традиционное понимание идеологий в исторической перспективе трактует их в терминах позитивистской репрезентации политической или социально-экономической реальности. Однако реальность рубежа тысячелетий, в которой символы не только отражают ее, но и создают, сделала позитивистский принцип репрезентации реальности недостаточным для понимания последней (см. [Wtown, 2005]). Можно сказать, что *эрозия понятия репрезентации спровоцировала эрозию понятия идеологии*, что выразилось в знаменитом тезисе о “конце идеологий”.

Язык глобализации и идеи столкновения цивилизаций недвусмысленно продемонстрировали преждевременность провозглашенного “конца идеологий”. Последние по-прежнему играют роль метанарративов с тотальными амбициями объяснения реальности. Однако анализировать идеологии стало намного сложнее. Позитивистские причинно-следственные схемы анализа уже не объясняют исторической трансформации идеологий (а точнее – упрощают ее). Этот феномен может быть гораздо глубже понят через призму противоречий и разрывов, нежели в категориях единства и преемственности.

Классический марксистский критический анализ идеологии предполагает апелляцию к социально-экономической реальности. Современный исторический взгляд на идеологии концентрируется на языке идеологий как таковом, который и выступает предметом анализа. При этом решающее значение приобретает контекст создания тех или иных языковых конструкций, наделенных тем или иным идеологическим значением. Именно такое видение идеологии позволяет зафиксировать, как *критика идеологии сама превращается в часть идеологического дискурса*, а деконструкция идеологических мифов неизбежно создает новые. У данных процессов де- и реконструкции нет конечной цели в ее позитивистском понимании, поэтому *история “теряет” направленность, становясь открытым сценарием*.

Подобная исследовательская перспектива отказывается от принципа предзаданности тех или иных идентичностей (в том числе и идеологических). Вместо того, чтобы рассматривать идеологии как более или менее фиксированную систему взглядов, основанную на социальной общности и длительном времени существования, такой подход анализирует идеологии сквозь призму исторического контекста, сосредоточиваясь на анализе речевых актов, через которые власть формируется как присвоение (или оспаривание) способности толкования ключевых политических понятий. Этот процесс может получать имена “здорового смысла” или “эффективного управления”, однако историческая перспектива может показать очевидную идеологическую подоплеку этих имен.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Вико Д. Основания новой науки об общей природе наций. М., 2007.
Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. М., 2009.
Кун Т. Структура научных революций. М., 2009.
Лампрехт К. История германского народа. В 3 т. М., 1894.
Мейнке Ф. Возникновение историзма. М., 2004.
Муслих Г.И. Концептуальные изъятия демократии как проблема глобализации // Политика. Анализ. Хроника. Прогноз. 2008^а. № 2.
Муслих Г.И. Суверенитет, монархия и революция: история становления и взаимоотношения понятий // Суверенитет. Трансформация понятий и практик: монография. М., 2008^б.
Ницше Ф. Веселая наука. М., 2010.
Рыбаков Б.А. Мир истории. Начальные века русской истории. М., 1984.
Смирнов Г.А. Советский человек. Формирование социалистического типа личности. М., 1971.
Февр Л. Бой за историю. М., 1991.
Филитов А.Ф. Социология пространства. СПб., 2008.

- Austin J.L.* How to Do Things with Words. Oxford, 1975.
 Begriffsgeschichte, Diskursgeschichte, Metaphergeschichte. Göttingen, 2002.
Brown C. Postmodernism for Historians. Harlow (England)–New York, 2005.
 The Enlightenment and Modernity. Basingstoke–New York, 2000.
Freedon M. Ideologies and Political Theory: a Conceptual Approach. Oxford, 1996.
Freedon M. Liberal Languages. Princeton (N.J.), 2005.
Freedon M. Liberalism Divided: A Study in British Political Thought 1914–1939. Oxford, 1986.
Freedon M. The New Liberalism: an Ideology of Social Reform. Oxford, 1978.
 Geschichtliche Grunderbegriffe. Historisches Lexikon zur Politisch-sozialen Sprache in Deutschland. 7 Vols. Stuttgart, 1972–1993.
Gumbrecht H.U. Modern, modernität, modern // Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland. 7 Vols. Vol. 4. Stuttgart, 1978.
Hippler T. Spinoza on Historical Myths // Myth and Memory in the Construction of Community. Historical Patterns in Europe and Beyond. Multiple Europes. № 9. Brussels, 2000.
Hunt L. The Rhetoric of Revolution in France // History Workshop Journal. № 15. Spring 1983.
Jones S. Languages of Class. Studies in English Working Class History, 1832–1982. Cambridge, 1983.
Koselleck R. Kritik und Krise: Eine Studie zur Pathogenese der bürgerlichen Welt. Frankfurt / Main, 1954.
Koselleck R. The Practice of Conceptual History: Timing History, Spacing Concepts (Cultural Memory in the Present). Stanford, 2002.
Koselleck R. Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten. Frankfurt / Main, 1979.
Lenk K. Geist und Geschichte. Ein Beitrag zum Geschichtsdenken Max Schellers. // Kölner Zeitschrift für Soziologie & Sozialpsychologie. 1956. Vol. 8.
Meinecke F. Erlebtes: 1862–1919. Stuttgart, 1964.
Palonen K. Die Entzauberung der Begriffe. Das Umschreiben der politischen Begriffe bei Quentin Skinner und Reinhart Koselleck. Münden, 2004.
Pocock J.G.A. The Ancient Constitution and the Feudal Law: a Study of English Historical Thought in the Seventeenth Century: a Reissue with a Retrospect. Cambridge, 1987.
Pocock J.G.A. The Machiavellian Moment: Florentine Political Thought and the Atlantic Republican Tradition. Princeton (N.J.), 2003.
 The Rise of the Social Sciences and the Formation of Modernity. Conceptual Change in Context, 1750–1850. Dordrecht–London, 1998.
Schuttler C.P. Historians and Discourse Analysis // History Workshop Journal. № 27. Spring 1989.
Skinner Q. The Foundations of Modern Political Thought. Cambridge, 1978.
Skinner Q. Liberty before Liberalism. Cambridge, 1998.
Stone L. The Past and the Present Revisited. London, 1981.
Strath B. The Concept of Work in the Construction of Community // After Full Employment. European Discourses on Work and Flexibility. Brussels, 2000.
Szakolszai A. Max Weber and Michel Foucault: Parallel Life-Works. London, 1998.
Toulmin C.S. Cosmopolis. The Hidden Agenda of Modernity. New York, 1990.
Wagner P. The Exit from Organized Modernity: “Flexibility” in Social Thought and in Historical Perspective // After Full Employment European Discourse on Work and Flexibility. Brussels, 2000.
White H. Metahistory. The Historical Imagination in the Nineteenth Century. Baltimore, 1973.
Wittrock B. The Meaning of the Axial Age // Axial Civilizations and World History. Leiden, 2004.